

Здравствуй уважаемый читатель!

Перед тобой практические задания по теме «Экзистенциализм»

Задание 3.3.2

Выберите из предложенного перечня и запишите в своих рабочих тетрадях те понятия, которые находятся в одном смысловом поле с понятием экзистенции. Раскройте содержательное единство и взаимосвязь этих понятий.

Субстанциальность, конечность, анонимность, временность, замкнутость, каузальность (причинность), историчность, статичность, подлинность, необходимость, фатальность, проектирование самого себя, незавершенность, всеобщность, детерминизм, заброшенность в мир, свобода, природа человека, личностная индивидуальность, живая процессуальность, существование как то, что предшествует сущности.

Задание 3.3.3

Почему М. Хайдеггер поднимает вопрос о сущности «Ничто»?

«Только странное дело: как раз, когда человек науки закрепляет за собой свою самую подлинную суть, он явно или неявно заговаривает и о чем-то другом. Исследованию подлежит только сущее и более – ничто; одно сущее и кроме него – ничто; единственно сущее и сверх того – ничто.

Как обстоит дело с этим Ничто? Случайность ли, что мы невзначай вдруг о нем заговорили? Вправду ли это просто манера речи – и больше ничто?

...Наука ничего не хочет знать о Ничто. С той же очевидностью, однако, остается верным: когда она пытается высказать свою собственную суть, она обращается к помощи Ничто. Ей требуется то, что она отвергает. Что за двойственность приоткрывается здесь?

При осмыслении нашей сегодняшней экзистенции как определяющейся через науку, мы попали в самую гущу противоречия. Противоречие само собой разворачивается в вопрос. Вопрос только и дожидается, чтобы его явно высказали: как обстоит дело с Ничто?

...Разработка вопроса о Ничто должна поставить нас в положение, исходя из которого или окажется возможным на него ответить, или

выявится невозможность ответа. Мы остались с Ничто в руках. Наука с высокомерным равнодушием по отношению к нему оставляет его нам как то, что “не существует”.

Попытаемся все же задать вопрос о Ничто. Что такое Ничто? Уже первый подступ к этому вопросу обнаруживает что-то непривычное. Задавая такой вопрос, мы заранее представляем Нечто как нечто, которое тем или иным образом “есть” – словно некое сущее. Но ведь как раз от сущего Ничто абсолютно отлично. Наш вопрос о Ничто – что и как оно, Ничто, есть – искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета.

Соответственно и никакой ответ на такой вопрос тоже совершенно невозможен. В самом деле, он обязательно будет получаться в форме: Ничто “есть” то-то и то-то. И вопрос и ответ в свете Ничто одинаково нелепы».

(Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / М. Хайдеггер // Время и бытие. — М.,1993. — С. 17—18.)

Задание 3.3.4

Как интерпретирует бытие человека Ж.-П. Сартр? Измените известный афоризм Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» таким образом, чтобы он соответствовал философии экзистенциализма. Объясните смысл измененного афоризма, сравните его с картезианским тезисом и сделайте выводы.

«...Существуют две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты... и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование предшествует сущности...

...Человек просто существует, а он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и после этого прорыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает...

...Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста...

...Наш исходный пункт – это субъективность индивида, он обусловлен и причинами чисто философского порядка. В исходной точке не может быть никакой другой истины, кроме: “Я мыслю, следовательно, существую”. Это абсолютная истина сознания, постигающего самое себя...

...Если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования...».

(Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. — М., 1989. — С. 321—323, 335—336.)

Задание 3.3.5

Какое место занимает категория «ничто» в философии Сартра? Как Сартр понимает свободу?

«...По появлении человека среди бытия, его “облекающего”, открывается мир. Но исходный и существенный момент этого появления – отрицание. Так мы добрались до первого рубежа нашего исследования: человек есть бытие, благодаря которому возникает ничто. Но вслед за этим ответом тотчас возникает другой вопрос: что такое человек в его бытии, если через человека в бытие приходит ничто?»

...Бытие может породить лишь бытие, и если человек включен в этот процесс порождения, выйти из него он может, лишь выходя за пределы бытия. Коль скоро человек способен вопрошать об этом процессе, то есть ставить его под вопрос, предполагается, что он может обозревать его как совокупность, то есть выводить самого себя за пределы бытия, ослабляя вместе с тем структуру бытия...

...Свобода не может быть понята и описана как обособленная способность человеческой души. Мы старались определить человека как бытие, обуславливающее появление ничто, и это бытие явилось нам как свобода. Таким образом свобода – как условие, необходимое для нигилирования ничто, – не

может быть отнесена к числу свойств, характеризующих сущность бытия человека. Выше мы уже отмечали, что существование человека относится к его сущности иначе, чем существование вещей мира – к их сущности. Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, благодаря которому последняя становится возможной, сущность бытия человека подвешена в его свободе. Итак, то, что мы называем свободой, неотличимо от бытия “человеческой реальности”. О человеке нельзя сказать, что он сначала есть, а затем – он свободен; между бытием человека и его “свободомыслием” нет разницы...».

(Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто. Человек и его ценности / Ж.-П. Сартр. – Ч. 1. – М., 1988. – С. 98–99.)

Задание 3.3.6

Подготовьте ответы на вопросы к приведенному ниже текстовому фрагменту работы Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм»: а) Как следует понимать мысль Сартра о том, что у человека существование предшествует сущности? б) Почему Сартр отрицает понятие природы человека? в) Что означает тезис Сартра: «Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста»? г) Какой смысл Сартр вкладывает в понятие человеческой ответственности?

«Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и называется субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим сказать, что человек прежде всего существует, что

человек – существо, которое устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, каким он пожелает. Под желанием мы обычно понимаем сознательное решение, которое у большинства людей появляется уже после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь проявление более первоначального, более спонтанного выбора, чем тот, который обычно называют волей. Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование. Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Слово “субъективизм” имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой стороны – что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, – всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Если, с другой стороны, существование предшествует сущности и если мы хотим существовать, творя одновременно наш образ, то

этот образ значим для всей нашей эпохи в целом. Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется на все человечество. Если я, например, рабочий и решаю вступить в христианский профсоюз, а не в коммунистическую партию, если я этим вступлением хочу показать, что покорность судьбе – наиболее подходящее для человека решение, что царство человека не на земле, – то это не только мое личное дело: я хочу быть покорным ради всех, и, следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. Возьмем более индивидуальный случай. Я хочу, например, жениться и иметь детей. Даже если эта женитьба зависит единственно от моего положения, или моей страсти, или моего желания, то тем самым я вовлекаю на путь моногамии не только себя самого, но и все человечество. Я ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю, выбирая себя, я выбираю человека вообще».

(Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1989. – С. 323–324.)

Задание 3.3.7

Проанализируйте представленные ниже извлечения из работы А. Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде». На основании этого сформулируйте основные положения, определяющие подход философа к проблеме человеческого существования.

«Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме – вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос “зачем”? Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. “Начинается” – вот что важно. Скука является результатом машинальной жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука пробуждает его и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное возвращение в привычную колею, либо окончательное пробуждение. А за пробуждением рано или поздно идут

следствия: либо самоубийство, либо восстановление хода жизни. Скука сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет значения».

(Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Бунтующий человек. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1990. – С. 29–30.)

«Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостояю всем моим сознанием, моим требованием вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его росчерком пера. Я должен удерживать то, что считаю истинным, что кажется мне очевидным, даже вопреки собственному желанию. Что иное лежит в основе этого конфликта, этого разлада между миром и сознанием, как не само сознание конфликта? Следовательно, чтобы сохранить конфликт, мне необходимо непрерывное, вечно обновляющееся и всегда напряженное сознание. В нем мне необходимо удерживать себя. Вместе с ним в человеческую жизнь вторгается абсурд – столь очевидный и в то же время столь труднодостижимый – и находит в ней отечество. Но в тот же миг ум может сбиться с этого иссушающего и бесплодного пути ясности, чтобы вернуться в повседневную жизнь, в мир анонимной безличности. Но отныне человек вступает в этот мир вместе со своим бунтом, своей ясностью видения. Он разучился надеяться. Ад настоящего сделался наконец его царством. Все проблемы вновь предстают перед ним во всей остроте».

(Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Бунтующий человек. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1990. – с. 51–52.)

«...Жить – значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни – значит не отрывать от него взора. ... Одной из немногих последовательных философских позиций является бунт, непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем мраком. Бунт есть требование прозрачности, в одно мгновение он ставит весь мир под вопрос. Подобно тому, как опасность дает человеку

незаменимый случай постичь самого себя, метафизический бунт предоставляет сознанию все поле опыта. Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения, обычно ее сопровождающего».

(Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Бунтующий человек. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1990. – С. 53.)

«Сознание и бунт – обе эти формы отказа – противоположны отречению».

«Самоубийство – ошибка. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам; абсурд есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве. Абсурдный человек знает, что сознание и каждодневный бунт – свидетельства той единственной истины, которой является брошенный им вызов».

«Абсурд развеял мои иллюзии: завтрашнего дня нет. И отныне это стало основанием моей свободы».

(Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Бунтующий человек. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1990. – С. 54.)

Задание 3.3.8

В работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» А. Камю так рассуждает об известном герое древнегреческих мифов.

Прокомментируйте отрывок из работы А. Камю. 1. Что обозначает понятие «абсурд» в философии А. Камю? Почему Сизиф, в понимании Камю, абсурдный герой? 2. Преодолит ли абсурд существования? Каковы способы его преодоления? 3. В чём состоит победа Сизифа? Почему, по мнению писателя, «ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу»? 4. Как, в представлении философа, связаны между собой абсурд и бунт?

«Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд. ...Этот миф

трагичен, поскольку его главный герой наделён сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живёт так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела, о нём он думает во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение».

(Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Бунтующий человек. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1990.)

Задание 3.3.9

Что такое бунтующий человек? Это человек, который говорит «нет». Но, отказываясь, он не отрекается: это также человек, который изначально говорит «да». Раб, подчинявшийся приказам всю свою жизнь, вдруг находит новую команду неприемлемой. Каково содержание этого «нет»? Почему А. Камю актуализирует понятие бунта?

«...Бунтарство порождает, пусть смутно, осознание, осеняющее понимание того, что в человеке есть нечто, о чем он может, хотя бы временно, идентифицироваться. До сих пор эта идентификация не ощущалась по-настоящему. Раб переносил все репрессии, предшествовавшие бунту. Он даже часто безразлично воспринимал приказы более возмутительные, чем тот, который вызвал отказ. Он был терпелив, быть может, внутренне и противился им, но молчал, озабоченный сиюминутными интересами. Раб еще не осознавал своих прав. Потеряв терпение, он распространяет свое нетерпение на все, с чем раньше соглашался...».

(Камю, А. Бунтующий человек. Человек и его ценности // А. Камю.— М., 1988. — Ч.1. — С.90—98.)

Задание 3.3.10

Прочитайте новеллу Ж.-П. Сартра «Стена». Почему Сартр назвал свою новеллу именно так? Какое многозначное символическое значение несет в себе понятие «стена»? Как основные категории экзистенциализма (свобода, выбор, ответственность, экзистенция, существование, пограничная ситуация, отчуждение, абсурд, одиночество, иррациональное) отражены в тексте произведения?

Жан-Поль Сартр Стена

Нас втокнули в просторную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых похожих друг на друга блондина, я подумал: наверно, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки – явно нервничал.

Все это тянулось уже около трех часов, я совершенно отупел, в голове звенело. Но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно: целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов поодиночке к столу. Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: «Участвовал в краже боеприпасов?» или: «Где был и что делал десятого утром?» Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают, молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. У Тома спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно – они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.

– Вы же знаете, – сказал Хуан, – это мой брат Хозе – анархист. Но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.

Они молча продолжали писать. Хуан не унимался:

– Я ни в чем не виноват. Не хочу расплачиваться за других. – Губы его дрожали. Конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.

– Ваше имя Пабло Иббieta?

Я сказал, что да. Субъект заглянул в бумаги и спросил:

– Где скрывается Рамон Грис?

– Не знаю.

– Вы прятали его у себя с шестого по девятнадцатое.

– Это не так.

Они стали что-то записывать, потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан. Нас повели. Том спросил у одного из конвоиров:

– А дальше что?

– В каком смысле? – отозвался тот.

– Что это было – допрос или суд?

– Суд.

– Ясно. И что с нами будет?

Конвойный сухо ответил:

– Приговор вам сообщат в камере.

То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и всюду гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие пять дней я провел в карцере одного архиепископства – что-то вроде одиночки, каменный мешок времен средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане: там я не коченел от стужи, был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня по крайней мере была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта: он страшно трусил, да и был слишком молод, ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно.

В подвале были скамья и четыре циновки. Когда за нами закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:

– Ну все. Теперь нам крышка.

– Наверняка, – согласился я. – Но малыша-то они, надеюсь, не тронут.

– Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.

Я взглянул на Хуана: казалось, он нас не слышит. Том продолжал:

– Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.

– А как же с экономией бензина?

Том меня раздражал: к чему он все это рассказывает?

– А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.

– Уверен, что тут они этого делать не станут, – сказал я, – чего-чего, а боеприпасов у них хватает.

Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверно, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся:

– Проклятье! – пробормотал он. – Меня всего колотит. Этого еще не хватало!

Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы: я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худошав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи, и я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.

– Ну что, согрелся?

– Нет, черт побери. Только запыхался.

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

– Фамилии этих трех?

Тот ответил:

– Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

– Стейнбок... Стейнбок... Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.

Он поглядел в список еще раз:

– Оба других тоже.

– Но это невозможно, – пролепетал Хуан. – Это ошибка.

Комендант удивленно взглянул на него:

– Фамилия?

– Хуан Мирбаль.

– Все правильно. Расстрел.

– Но я же ничего не сделал, – настаивал Хуан.

Комендант пожал плечами и повернулся к нам:

– Вы баски?

– Нет.

Комендант был явно не в духе.

– Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен?

Мы промолчали. Комендант сказал:

– Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.

Козырнув, он вышел.

– Ну, что я тебе говорил, – сказал Том. – Не поспешили.

– Это уж точно, – ответил я. – Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган – такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

– Оставь его, – сказал я Тому. – Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку – это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти – не было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

– Послушай, – спросил Том, – ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: «Ну вот, начинается!» А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними – белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес:

– Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами.

Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него:

– А, собственно, зачем?

– Я весь к вашим услугам. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы.

– Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других.

– Меня послали именно сюда, – ответил он неопределенно. И тут же торопливо добавил: – Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары. – Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары, мы отказались. Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему:

– Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

– Принести лампу? – неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как замороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал. «Сволочь! – в бешенстве подумал я. – Пусть только попробует щупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу». Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову,

то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

– Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

– Нет, мне не холодно, – ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозглом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу. Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мой стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустился на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

– Вы врач?

– Врач, – ответил бельгиец.

– Скажите... а это больно и... долго?

– Ах, это... когда... Нет, довольно быстро, – ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

– Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

– Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

– И тогда перезаряжают ружья и целятся снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

– И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался потом вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно-голубыми и невесомыми, я представлял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал, – потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

– Ты в состоянии это понять? – спросил он. – Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

– О чем ты?

– О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию. – Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

– Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

– Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как, по-твоему, сколько их будет?

– Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

– Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: «На прицел!» – и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

– Знаю, – ответил я. – Я представляю это не хуже тебя.

– Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо, – голос его стал злобным. – Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

– Потом? – сказал я сурово. – Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь, – наши мысли его не интересовали: он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

– Это как в ночном кошмаре, – продолжал Том. – Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута – и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет». Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме, и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, вззирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться – для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

– Заткнись, – сказал я ему. – Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе, – мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Грису. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен; все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

– Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

– Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

– Что это? – пробормотал он растерянно.

– Ты напустил в штаны, – ответил я.

– Вранье! – прокричал он в бешенстве. – Вранье! Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие:

– Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

– Не знаю, как это вышло, – голос Тома стал яростным. – Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону – три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове, возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не противился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде. Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я

испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть: я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили, как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом – я боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад-вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае, такими они мне казались до. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих дядюшек, лицо Рамона Гриси. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами; если б я только мог предположить, что сгину подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик – ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть, к примеру мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это былого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

– Друзья мои, – сказал он, – я готов взять на себя обязательство – если, конечно, военная администрация будет не против – передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

– У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

– Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

– Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом – это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было

землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего, это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно, – меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии – они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать – несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я – тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал, меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина; мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

– Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул – мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

– Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным – я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно, больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:

– Ты слышишь?

– Да.

Со двора доносились звуки шагов.

– Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.

Через минуту все стихло. Я сказал Тому:

– Светает.

Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:

– Продрог как собака.

Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.

– Начинается, – сказал я Тому. – По-моему, они это делают на заднем дворе.

Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли непрерывно.

– Понял? – сказал Том.

Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.

– Стейнбок?

Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.

– Хуан Мирбаль?

– Тот, что на циновке.

– Встать! – выкрикнул лейтенант.

Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.

– Это уже не первый в таком виде, – сказал лейтенант. – Придется его нести, ничего, все будет в порядке.

Он повернулся к Тому:

– Выходи.

Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:

– Это вы Иббиета?

– Да.

– Придется подождать. За вами скоро придут.

Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было не ясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалились в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

– Твоя фамилия Иббиета?

– Да.

– Где скрывается Рамон Грис?

– Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

– Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь по сильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

– Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять; у них были свои взгляды на будущее

Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны – ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

– Ну что, ты понял?

– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.

– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запереться, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытаться (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи – тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет, кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий, – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:

– Гляди, крыса.

Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:

– Сбрей усы, кретин.

Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.

– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупей и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакивали с мест.

– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.

– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.

– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.

Я подумал, что не так его понял. Я спросил:

– Как, разве меня не расстреляют?

– Во всяком случае, не сейчас. И потом это уже не по моей части.

Я все еще не понимал.

– Но почему?

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.

– Меня взяли в два часа, – сказал Гарсиа.

– За что?

Гарсиа политикой не занимался.

– Понятия не имею, – ответил Гарсиа, – они хватают каждого, кто думает не так, как они.

Он понизил голос:

– Грис попался.

Я вздрогнул.

– Когда?

– Сегодня утром. Он сваял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желających его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».

– На кладбище?

– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

– На кладбище!

Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.

(Сартр, Ж.П. Стена / Ж. П. Сартр // Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет: Сборник - Москва : АСТ, 2017. - 606 с.)